

# Илья Ильф, Евгений Петров

## Светлая личность

### Глава I. «Веснулин Бабского»

Нет ни одного гадкого слова, которое не было бы дано человеку в качестве фамилии. Счастлив человек, получивший по наследству фамилию Баранов. Не обременены никакими тяготами и граждане с фамилиями Баранович и Барановский. Намного хуже чувствует себя Баранский. Уже в этой фамилии слышится какая-то насмешка. В школе Баранскому живется труднее, чем высокому и сильному Баранову, футболисту Барановскому и чистенькому коллекционеру марок Барановичу. И совсем скверно живется на свете гр. гр. Барану, Баранчику и Барашеку.

Власть фамилии над человеком иногда безгранична. Гражданин Баран если и спасется от скарлатины в детстве, то все равно проворуется и зрелые свои годы проведет в исправительно-трудовых домах. С фамилией Баранчик не сделаешь карьеры. Общеизвестен тов. Баранчик, пытавшийся побороть проклятие, наложенное на него фамилией, и с этой целью подавшийся было в марксисты. Баранчик стал балластом, выметенным впоследствии железной

метлой. Братья Барашек и не думают отдаваться государственной деятельности. Они сразу посвящают себя молочной торговле и бесславно тонут в волнах нэпа.

Герою нашего повествования досталась благонадежная, ручейковая фамилия — Филюрин. Он никогда не попадал в неудобные, смешные положения, в которых барахтаются Бараны, Баранчики и Барашеки. Солнце исправно освещало жизненный путь Егора Карловича Филюрина.

Пятнадцатого июля оно светило несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учреждениях города Пищеслава выдавали полумесячное жалованье. Булыжные мостовые бросали зеркальный отсвет, перебегавший под карнизами немудреных пищеславских домов. Госпапиросник в полотняном переднике стоял на Тимирязевской площади в столбах солнечного света и жмурился на свой стеклянный ларек. На боку папиросника висел горчичного цвета фанерный ящик с двумя надписями. Первая, прозаическая — была кратка: «Ящик для жалоб». Вторая была в стихах:

Остановитесь, потребители!  
Жалобу на этого папиросника  
опустить не хотите ли?

В Пищеславе чрезвычайно заботились о благополучии граждан.

Егор Карлович Филюрин торопливо подошел к зашевелившемуся папироснику, купил двадцать пять штук папирос «Дефект», вынул из кармана заранее заготовленную жалобу и опустил ее в горчичный ящик. Прodelывал это Филюрин ежедневно, так как был человеком с общественной жилкой. Иногда он жаловался на жесткий вкус папирос «Дефект», иногда протестовал против мягкой упаковки или же обрушивался на антисанитарный передник продавца. Если придраться было не к чему, Филюрин опускал в ящик узенькую ленточку бумаги со словами: «Сегодня никаких недочетов не выявлено. Е. Филюрин».

Пыхнув папироской, Филюрин отошел от равнодушного продавца и, пересекая вымощенную квадратными плитами площадь, очутился в освежающей тени конной статуи Тимирязева.

Великий агроном и профессор ботаники скакал на чугунном коне, простерши впереди правую руку с зажатым в ней корнеплодом. Четырехугольная с кистью шапочка доктора Оксфордского университета косо и лихо сидела на почетной голове ученого. Многопудовая мантия падала с плеч крупными складками. Конь, мощно стянутый поводьями, дирижировал занесенными в

самое небо копытами.

Великий ученый, рыцарь мирного труда, сжимал круглые бока своего коня ногами, обутыми в гвардейские кавалерийские сапоги со шпорами, звездочки которых напоминали штампованную для супа морковь.

Удивительный монумент украшал город с прошлого года. Воздвигая его, пищеславцы подражали Москве. В стремлении добиться превосходства над столицей, поставившей у Никитских ворот пеший памятник Тимирязеву, город Пищеслав заказал скульптору Шац конную статую. Весь город, а вместе с ним и скульптор Шац, думали, что Тимирязев — герой гражданских фронтов в должности комбрига.

Шац на время забросил обязанности управдома, которые обычно исправлял, ввиду затишья в художественной жизни города, и в четыре месяца отлил памятник. В первоначальном своем виде Тимирязев держал в руке кривую турецкую саблю. Только во время приема памятника комиссией выяснилось, что Тимирязев был человек партикулярный. Саблю заменили большой чугунной свеклой с длинным хвостиком, но грозная улыбка воина осталась. Заменить ее более штатским или ученым выражением оказалось технически невыполнимым. Так великий агроном и скакал по бывшей Соборной площади, разрывая

шпорами бока своего коня.

Филюрин вынул бархатную тряпицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут десять, мысленно распределяя жалованье. Из тридцати пяти рублей, полученных сейчас Егором Карловичем за полмесяца в отделе благоустройства Пищ-Ка-Ха, рублей шесть оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой, мадам Безлюдной.

Стук колотушки, донесшийся из-за угла, прервал печальные вычисления. Филюрин поднял чистое лицо и прислушался. Стук разросся, к нему присоединились еще трещеточные звуки и словно бы грохот падающей мебели.

На площадь въехал изобретатель Бабский верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем трепетала пыльная борода, похожая на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать два кольца вокруг статуи, пока велосипед не остановился.

— Скорее! — крикнул Бабский.

— Что скорее? — спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами.

Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накренился и рухнул на плиты, потащив за собою седока. Бабский вытащил ногу из-под шпигатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину:

— Просил же я вас подержать мой бицикл! Я — прошу убедиться — еще не выучился им как следует управлять! Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо.

Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из четырех фикусов, стоявших по углам цоколя.

Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина:

— Дешевка! Материалу идет на восемь рублей! Прошу убедиться — одно дерево! Сейчас еду за патентом. Бицикл Бабского! Каково?

— Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы! — восхищенно сказал Филюрин.

— Какие выводы?

— Выпить.

— Это всегда можно. Дайте только патент получить.

— Изобретатель должен угощать, — сказал Филюрин с убеждением.

На фоне идущего к закату солнца фигура Бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это

был рослый старик с жирными плечами и бородой, полной пороху и мусора. Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка.

В каждом городе есть свой сумасшедший, которого жалеют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватает пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети. Но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью, наравне с городским театром и деревянной торцовой мостовой на главной улице.

Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалеют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель!

Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по пищеславским учреждениям, предлагая изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которой

смотрело на Косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то взывала автомобильная сирена.

Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобретал вакцину, которая при впрыскивании в голенища делала сапоги огнеупорными! Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к двухлетнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет «перпетуум мобиле», сделанное из двухрублевых ходиков и мятого самовара емкостью в полтора ведра. Но и «перпетуум мобиле» не вышло. Тогда Бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел, как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал три дня, и из его рук вышел «бицикл Бабского». Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось и, никому не видимое, меняло свой яичный цвет на голубой.

— Скажите, Бабский, — спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на кадку с фикусом, — изобретать — это трудно?

Бабский тяжело перелез с кадки на камышовое седло велосипеда и, кряхтя, ответил:



— Простейшее дело.

Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покатила по площади.

— Что это дает в месяц? — крикнул Филюрин вдогонку.

— Рублей шестьдеся-а-а-ат! — донеслось сквозь грохот.

Бицикл Бабского исчез в ослепляющей печи заката.

Филюрин хотел было продолжить путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загремела металлическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла.

«Не иначе как Бабский выронил, — подумал Филюрин. — Интересно, сколько такое мыло может стоить?»

В неслужебное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы: сколько тот или иной предмет стоит, на сколько дешевле он продается за границей и как много зарабатывает собеседник. Только с барышнями он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы — любовь и ревность. Но и с барышнями разговор ладился только до наступления сумерек, когда совместное сидение сводилось к лирическому

молчанию.

Голубое мыло навело Филюрина на мысль о бане. Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и оргвыводами, т. е. пивом и водкой.

Филюрин покинул площадь и двинулся в Дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и люфвовую рукавицу.

В Пищеславе средняя цена отдающейся внаем комнаты была восемь-девять рублей. Мадам Безлюдной Филюрин платил только четыре, так как мадам училась пению и ее фиоритуры сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам Безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты.

Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм.

Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки четыре рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправиться на вечеринку, где его ждет беспримерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства.

Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина.

Десятки тысяч людей с бритыми затылками и

с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и серенькими глазами влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний, добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить за квартиру; но не их избрала судьба, не им позволила история выдвинуться для дел больших и чудесных.

Дивный и закономерный раскинулся над страной служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края, и еще большие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли как Млечный Путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии. И тревожными августовскими ночами падают звезды — очевидно, сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды, притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями.

Велико звездное небо отечественного аппарата и обширен выбор светил. Но для великих

преобразований в городе Пище-славе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет которой еще не дошел до Земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина — мандолиниста и неплательщика в жизни, а по службе скромного регистратора Пищ-Ка-Ха.

Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться. Он распустил матерчатый поясок своей полутолстовки, снял вечный визиточный галстук с металлической машинкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, брэнчавшие, как сбруя (Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы вместо гривенников).

Раздевшись догола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Перекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло Бабского и вошел в мыльную.

В это время Бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив собравшейся у входа в ГСНХ толпе преимущества елового бицикла перед металлическим, с шумом выкатил на проспект имени Лошади Пржевальского.

В этот сумеречный час между двумя рядами

пепельных от пыли лип уже гуляли пищеславцы. Привыкшие к причудам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами.

Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся.

— А! Это вы, товарищ Лялин! — примирительно сказал Бабский. — Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный подотдел.

— Опять изобрели что-нибудь? — проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро.

— Изобрел, изобрел! Мыло от веснушек. «Веснулин Бабского!» Сейчас покажу. Весь город ахнет, прошу убедиться. Подержите бицикл.

Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища «веснулин». Но ни в одном из всех четырнадцати карманов пиджачной тройки он не нашел металлической коробочки с мылом.

— Так вы мне завтра в подотдел занесите, — нетерпеливо сказал Лялин, — там и подработаем вопрос.

— Позвольте, позвольте, куда же оно могло деться, — суетился Бабский, — позвольте, где же я был? Наверно, в губсовнархозе оставил. Подождите здесь! Я сейчас приеду!

И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным подотделом, покати

обратно по проспекту им. Лошади Пржевальского.

Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом, опечаленный потерей «веснулина», колесил по всему городу, наполняя его погремушечным стуком, Филюрин мылился.

Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. «Веснулин» Бабского издавал беспокойный скипидарный запах.

«Медицинское мыло, — с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз и клекоча от наслаждения, — наверно, не меньше сорока копеек стоит».

Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает и растворяется в банном тепле.

И, странное дело, милиционерскому надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла и моется одно только туловище.

Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза, а когда промыл, в углу, где только что стоял Филюрин, никого не было. Только вились

смутные локончики пара да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка.

Милиционер Адамов был так удивлен происшедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников. Но свисток вместе со всей форменной упряжью остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов не долго думая первым схватил шайку и предался дальнейшим банным удовольствиям. О Филюрине он сейчас же забыл.

Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо. То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел (а не увидел он многого: ни своих рук, ни ног, ни живота, ни плеч), ошеломило его. В страхе он побежал под душ. Он чувствовал, как под теплым дождиком слетело с него мыло, но тело продолжало отсутствовать.

Необыкновенный испуг вытолкнул Филюрина в предбанник. Филюрин подскочил к зеркалу. Себя он не увидел. Его не было. Он не отражался в зеркале. А между тем он стоял против зеркала и даже притронулся к нему рукой.

Но подумать о своем отчаянном положении Филюрин не успел. В зеркальном поле отразились две подозрительные фигуры. Они вошли в предбанник из передней и, увидев, что здесь никого

нет, захватили ближайшую к ним стопку одежды и проворно выбежали.

— Стой! — закричал Филюрин, услышав знакомый звон своих брюк.

Голос его был прежний, филюринский.

В гневе он погнался за похитителями. Воры неслись к темным переулкам Нового города. За ними во весь дух бежал невидимый регистратор.

Произошло темное и удивительное событие. Двадцатилетний молодой человек, исправный служащий, отличавшийся завидным здоровьем, одновременно потерял все, что у него было: полуголотовку, визиточный галстук и тело. Осталось только то, в чем Филюрин до сих пор совершенно не нуждался. Осталась душа.

А город, еще ничего не подозревавший, жил обычной жизнью. В ночной тиши раздавались резкие звуки увертюры к опере «Кармен», исполняемой в клубе водников великорусским оркестром на семнадцати домрах.

## **Глава II. «Воленс-неволенс»**

До самого рассвета невидимый регистратор блуждал по переулкам, настолько отдаленным от центра, что их даже к 1928 году не успели переименовать. Воров он не настиг, да и погоня за гардеробом была уже бесцельной. Пробежав



километров шесть, Филюрин сообразил, что призраку одежда не нужна. Однако впереди было худшее — в девять часов предстояло прибыть на службу.

Следствием этого явилось решение немедленно отправиться к Бабскому и требовать возвращения тела еще до начала занятий в отделе благоустройства.

Через двадцать минут изобретатель Бабский проснулся от холода. Окно было раскрыто, и утренний ветер сгонял в угол комнаты деревянные стружки, завившиеся колечками.

— Товарищ Бабский! — услышал изобретатель. — Товарищ Бабский!

Бабский выпрыгнул из постели и подбежал к окну. Улица была пуста и чиста. Холодная, оловянная роса поблескивала на деревьях.

— Хулиганы! — крикнул изобретатель, захлопывая окно. — Удивительное хулиганство!

— Товарищ Бабский, — услышал он за собой, — дело в том, что я был в бане...

Бабский сел на избрызганный подоконник и изумленно оглядел комнату. В комнате никого не было.

— Кто был в бане? — тихо спросил он.

— Я, — ответил стул.

Тогда Бабский поднялся, на пуантах подкрался к стулу и, насторожив слух, с крайним

любопытством спросил:

— Вы были в бане?

Но стул не ответил. За спиной изобретателя послышался застенчивый кашель и тот же голос с мольбой произнес:

— Я с этой стороны, товарищ Бабский. Дело в том, что меня не видно.

— Кого не видно? — раздраженно спросил Бабский.

— Меня, Филюрина.

— Позвольте, почему же вас не видно?

— Дело в том, что я был в бане, а теперь мне нужно к девяти часам прийти на службу, а меня не видно.

По мере того как Филюрин вяло и нерешительно выбалтывал подробности своего исчезновения, лицо изобретателя все светлело и оживлялось.

— Так вы говорите, намылились? — спросил изобретатель, дергая себя за бороду. — С научной стороны это весьма интересно!

— Вы же поймите, — убеждал Филюрин, — из-за вашего мыла я теперь не могу пойти на службу.

— А я тут при чем? Вы взяли мой «веснулин» без спроса, но черт с вами. Мне не жалко. Но ведь мыло действовало правильно? Веснушки исчезли?

— Веснушки исчезли, — искательно сказал

невидимый, — но ведь и я тоже исчез, товарищ Бабский. Войдите также и в мое положение.

В комнате раздалось жалкое стенание.

— Черт его знает, — задумчиво произнес изобретатель, — я изобрел только мыло от веснушек...

— Скажите, может быть, вы можете сделать так, чтобы я опять сделался видимым?

— Так-с, — заметил Бабский, — надо подумать. Вы где сейчас, молодой человек? Если на стуле, то я сяду на кровать, а то вас раздавить недолго.

— Я стою.

— Ага. Ну, стойте. А я подумаю.

В течение получаса в комнате слышались только громкие междометия, которые пропускал сквозь бороду изобретатель.

— Уже без четверти семь, — канючил невидимый. — Не говоря о том, что я всю ночь не спал, я из-за вашего мыла еще опоздаю на службу.

Бабский встал, вытряхнул свою бороду обеими руками, как вытряхивают носильное платье, и решительно сказал:

— Не морочьте мне голову! Я с вами еще буду судиться за то, что вы стащили мое мыло. Я не могу в полчаса сделать такое серьезное изобретение, как возвращение человеческого тела. Я, может быть, и за пять лет не успею этого

сделать.

Как видно, Филюрин пришел в сильнейшее волнение, потому что упал стул и с верстака посыпались чурки — запасные части к бициклу.

— Пошел вон! — завопил Бабский. — Хулиган! Ну, вон отсюда! Окно само собою распахнулось, и уже с улицы донесся нудный голос невидимого:

— Я на вас в суд подам!

— Я тебе подам! Украл мыло и еще пристаает!

— Вы не имеете права, — хорохорилась пустынная улица, — ответите как за убийство!

— Ворюга! — дразнил городской сумасшедший, свешиваясь из окна. — Так тебе и надо!

Окно с треском захлопнулось. Бабский минут десять ходил по комнате успокаиваясь. Потом, придя к заключению, что «веснулин» приобрел свои удивительные свойства под влиянием брожения в железной коробочке, изобретатель зажег примус и немедленно же стал варить второй кусок «веснулина», восстанавливая по памяти его основные ингредиенты.

Потосковав у окна, прозрачный регистратор двинулся по Косвенной улице.

Город уже проснулся. Проехала клетка с наловленными за утро бродячими псами. Почуввав запах невидимого, население клетки залаяло и

завизжало.

Час совслужащих приближался, а Егор Карлович все еще не знал, что предпринять. На Тимирязевской площади уже стоял знакомый госпапиросник. Так же, как и вчера, блистал его стеклянный ларек, и жалобный ящик по-прежнему манил к себе усталого путника. Но все это было не для Филюрина.

Внезапно и скоропалительно переменялась вся жизнь регистратора, даже не переменялась, а, вернее, прекратилась. От него ушли: еда, питье, табак, любовь, движение по службе, возможность восхитить кого-нибудь своим нарядом или телом. Оставалось только одно — возможность мыслить. Но этим делом Филюрин никогда не занимался.

В страхе и удивлении очутился Филюрин перед большим, прибитым к двум столбам, железным плакатом. На плакате был изображен бегущий человек в такой же точно полутолстовке, какая еще вчера была на Егоре Карловиче. Он устремлялся вперед, держа в протянутой руке белый червонец. Под картиной была ликующая надпись:

**КТО КУДА, А Я — В СБЕРКАССУ!**

«А я куда? — горько подумал невидимый. — Куда я?»

Полный отчаяния, Егор Карлович бросился домой. Он подошел к окну своей квартиры и заглянул внутрь. Мадам Безлюдная сидела за пианино, тяжело роняя пухлые руки на клавиши. Из открытого рта безостановочно лился благовест. Златозубая мадам упражнялась в звуке «и».

— А я куда? — прошептал Филюрин. — Не идти же на службу в таком виде?

А между тем уже все шло и ехало на службу. Проехал в автомобиле заведующий отделом благоустройства Каин Александрович Доброгласов с сыновьями: Афанасием Каиновичем, работающим в отделе лиственных насаждений, и Павлом Каиновичем — из отдела сборов.

— Пойду, — решил Филюрин наконец, — ведь я же ни в чем не виноват! Я им все объясню. Пусть на комиссию пошлют. Пожалуйста!

Отдел благоустройства Пищ-Ка-Ха занимал пять комнат в двухэтажном особняке на Тысячной улице. В каждой комнате был большой камин, отделанный в мрамор. Так как каминов не топили, то в них содержались дела в папках, перевязанных шпагатом, и в раздувшихся скоросшивателях.

К тому времени, когда Каин Александрович прибыл в вверенный ему отдел, все сотрудники были уже в сборе, и только стол регистрации земельных участков пустовал. Каин Александрович критическим взором окинул стол регистрации,

потом взглянул на шестигранные стенные часы, сверил их со своими мозеровскими, затем сказал:

— Что, Филюрин болен?

Евсей Львович Иоаннопольский, делавший записи в главной книге и находившийся в эту минуту ближе всех к начальнику, заметил, что о болезни Филюрина как будто никаких сведений не имеется.

— Не знаю, — сказал Каин Александрович без всякого выражения, — за ним эти шуки не первый раз. Кажется, воленс-неволенс, а я его уволенс.

Последние слова Доброгласов произнес с особенным вкусом.

Выражение это он услышал в 1923 году, когда Пищеслав посетило лицо, облеченное полномочиями по части садового благоустройства. И самое-то это выражение «воленс-неволенс, а я вас уволенс» было сказано ему, Каину Александровичу, за обнаруженные упущения. После этого Доброглаев уверился, что лицо, посетившее город, есть лицо весьма важное и, возможно, даже историческое.

Когда гроза пронеслась, Каин Александрович решил увековечить момент пребывания гостя. Трамвайный вагон № 2, в котором посетитель проехался по городу, был снят с линии и помещен в музей благоустройства с мемориальной дощечкой:

«В этом вагоне сентября 28 дня 1923 года тов. Обмишурин отбыл на вокзал». После этого исторического эксцесса в городе Пищеславе циркулировали только два трамвайных вагона, потому что всего их было три. Пищеславцы с ужасом думали о том, что Обмишурин еще раз может приехать с ревизией и тогда трамвайное движение прекратится навсегда.

Каин Александрович давно уже сидел в своем кабинете и макал перо в сторублевую бронзовую чернильницу «Лицом к деревне» (бревенчатая избушка с раскрывающейся дверцей и надписью, сделанной славянской вязью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), а Иоаннопольский никак не мог избавиться от гнетущего чувства.

Положение Иоаннопольского в отделе было шатким. Его могли выкинуть в любую минуту, хотя он служил верой и правдой уже восьмой год. Происходило это вследствие маниакальной идеи, засевавшей в голове Каина Александровича. Два года тому назад в Пищеславе прошумел показательный процесс проворовавшегося управделами ПУМа Ивановпольского. С тех пор Доброгласов остановился на мысли, что Ивановпольский и Иоаннопольский — одно и то же лицо. При очередном сокращении штатов Каин Александрович неизменно требовал увольнения Иоаннопольского, подкрепляя свое требование



криками:

— Зачем нам управделами ПУМа?

Как ни уверяли Доброгласова, что Иоаннопольский Евсей Львович ничего общего с Ивановольским Петром Каллистратовичем не имеет, что, в то время как Петр Каллистратович сидел на скамье подсудимых, Евсей Львович аккуратно являлся на службу в девять часов утра и что Ивановольский наконец приговорен к десяти годам и работает в канцелярии допра, — это действовало только временно.

При следующем сокращении Каин Александрович подымался и с упреком спрашивал:

— Зачем нам Ивановольский? Зачем у нас служит управделами ПУМа? Его надо сократить в первую голову.

Доброгласову снова доказывали, какая пропасть отделяет заслуженного бухгалтера Иоаннопольского от известного всему городу жулика Ивановольского, но Каин Александрович смотрел на объяснявшего белыми эмалированными глазами и говорил:

— Вы кончили, товарищ? Ну, а теперь вы мне скажите, зачем нам, я вас спрашиваю, управделами ПУМа? Зачем? Воленс-неволенс, а я его уволенс.

По всем этим причинам Евсей Львович не любил никаких волнений в отделе.

Впрочем, никто в отделе не любил волнений:

ни Лидия Федоровна, немолодая девушка со считанными волосами кудрявой прически, ни самый молодой из служащих отдела — Костя, ни товарищ Пташников, пищеславский знахарь, числящийся в ведомости личного состава инструктором-обследователем.

Подобные Пташникову служащие водятся в каждом городе и даже в каждом учреждении. Это обычно недоучившиеся медики или родственники врачей, а то и просто любители поговорить на медицинские темы.

К ним-то и обращаются за советом служащие, глубоко убежденные в том, что врачи страхкасы лечат неправильно, не учитывая новейших достижений научной мысли. Общение же с частными врачами невозможно, так как частные врачи, по мнению служащих, спекулянты и связываться с ними не стоит. Полным доверием пользуются только профессора, но посещать их мешает бедность.

И все обращаются к собственному медику. Советы он дает охотно, денег за это не берет и, сияя отраженным светом родственного или знакомого ему медицинского светила, отличается универсальностью в познаниях.

Пташников, сидевший за своим тонконогим столиком рядом со столом Филюрина, был прекрасным, знающим и совершенно

бескорыстным учрежденским знахарем-колдуном. Особое уважение он внушал себе тем, что был двоюродным племянником известного в Ленинграде терапевта.

Как только Каин Александрович затих в своем кабинете, к Пташникову подошел еще не успокоившийся Евсей Львович.

— Ну, что? — спросил Пташников, останавливая бег своего пера и обратив к Иоаннопольскому круглое лицо. — Как адреналин?

— Впускал, как вы говорили. С носом у меня теперь все благополучно, но знаете что, Пташников...

Выслушав Иоаннопольского и рассмотрев мешки под его глазами, Пташников сказал:

— Лучшее всего, конечно, обратиться к профессору. К Невструеву, например.

— А все-таки? — настаивал Евсей Львович.

— Не знаю. Мне кажется, что у вас отравление уриной.

На щеках Евсея Львовича проступил клубничный румянец.

— Неужели уриной?

— Видите ли, лучше всего вам все-таки обратиться к Невструеву. Может быть, это нервное.

— Тут станешь нервным, — заметил Иоаннопольский, поглядывая на дверь. — Что же вы все-таки думаете?